

Скрипели старые, разошедшиеся двери под резкими порывами ветра, не в силах прикрыть внутреннее убожество домов. Темными провалами смотрелись оконца. Видно было, здесь уже кто-то побывал — по-хозяйски себя вел, ничего не опасался, влезая в старые избы. Да и кого бояться-то в заброшенных деревушках, коих немеряно развелось повсюду. Все перевернули, искорежили, что-то выискивая, и, громко топоча, уходили — пакостники. А ежели с ночевьем оставались — считай, пропала избенка: подпалят, покидая, и далее отправляются, не оглядываясь, не задумываясь, что с деревней-то будет. Ветром сорвет петуха красного, и начнет он гулять по всей деревне, и нет ее больше, исчезла с лица земли, осталась лишь память о ней да печные трубы закопченные, что сиротливо в небо уставились.

Так и стоят деревни и села там и сям, глядя на мир темными прорехами оконцев. Старики уж почти все на погостах, молодежь перебралась в города, в надежде, что там жизнь легкая. Лишь те остались, кому ехать некуда, да и незачем. Остались, чтобы свой век дожить, докуковать.

...Федор вздохнул, устало растер ладонями вспотевшее лицо, размазывая прилипшую пыль, присел на корточки, внимательно всматриваясь в едва заметную надпись на покосившемся кресте.

— Ну, здравствуй, батя,— сказал он. Торопливо начал искать в потертой сумке и достал початую бутылку с мутной жидкостью.— Вот я и вернулся домой...

Он снова стал шарить в сумке, вытащил граненую рюмку, пластмассовый стаканчик, наполнил до краев и, поставив рюмку возле креста, выдохнул, выпил из стаканчика, громко закричал и, морщась, взглянул на просевший бугорок земли.

— Знаешь, батя, а я не нашел материну могилку. Ходил, ходил по кладбищу и не смог отыскать, где она покоится. Памятники ржавые, кресты покосившиеся, а надписей нет. Одним словом — безымянные. Завтра сюда приду, маману разыщу и ваши могилки поправлю. Понимаю, некому было за вами ухаживать. Теперь я займусь, все исправлю. Ты прости меня, дурака, что не послушал тебя и в молодости в город сбежал за легкой жизнью. Да уж, легкая,— Федор опять тяжело вздохнул, вылил остатки из бутылки, выпил и передернул плечами.— Фу, гадость! Что я говорил? А, да... О легкой жизни рассказывал. Кому-то она как мать родна, а мне словно мачеха. Закружила, завертела и выбросила на обочину. Все повидал, всюду побывал, даже в тюрьму угодил. Там-то и вспомнил твои слова, что везде хорошо, где нас нет, и то, что дом — это родина, мать родная. Так и получается. Шлялся-мотался, за длинным рублем гонялся, полстраны проехал, а в кармане — вошь на аркане: все проел, прогулял, а пришло время — в родной дом воротился и каюсь, что прозрение поздно пришло. Кнутом, вожжами нужно было меня хлестать до крови, до визга, на цепь сажать, чтобы никуда не рвался, тогда и не пришлось бы мыкаться — это я сам виноват, что так получилось. Ничего, теперь вернулся, надо думать, как жить, чем заниматься. Прошлое не вычеркнуть, батя, да от него и не уйдешь. Не знал, что теперь автобусы не ездят по деревням. Пришлось на шоссе водителя просить, чтобы остановился, а потом пешим ходом столько верст сюда добирался. Издаля глянул на деревню, что от нее осталось, на разруху, и сразу на кладбище отправился. Да уж, сильно разрослось... Читаю, вижу знакомые имена, а вспомнить никого не могу. Эх, жизнь...

— Чего шляешься по погосту, нехристь? — услышал Федор, хотел повернуться и почувствовал сильный удар по спине.— Мало вам, что все избы изгадили, так еще и сюда добрались. Креста на вас нет, разбойники!

Извернувшись, чтобы еще раз не получить по хребтине, Федор отскочил в сторону и прижался к старенькой ржавой оградке.

— Бабка, хватит меня костерить! — рявкнул он и посмотрел на сгорбленную, сухонькую старушонку, одетую в залатанную черную юбку до щиколоток, из-под которой виднелись замызганные галоши, на плечах был ватник, весь в дырках, голова повязана коричневым шерстяным платком, седые прядки выбились, закрывая морщинистый лоб, и были заметны блеклые голубоватые глаза.— Отстань от меня, карга старая! Нашла место, где клюшкой своей махать.

— Вот ужо погодь,— опять намахнулась клюшкой старуха.— Покличу народ с деревни, вмиг бока намнут!

— Да какой народ, с какой деревни, бабка? — Федор оглянулся на редкие дома, видневшиеся среди кустов и деревьев.— Нет ее — умерла! А люди... Остались два старика и три калеки, да ты в придачу — и все!

— Покудова последнего не отвезут на погост, жива будет деревенька, жива,— старуха погрозила скрюченным пальцем и снова намахнулась клюшкой.— Вот отхожу тебя, ирод, тогда узнаешь! Откель тебя занесло в наши края, лихоимец?

— Я местный, бабка, здешний,— Федор кивнул на могилу.— Тут мой батя лежит, а маману так и не нашел. Эх, жизнь...— он тяжело вздохнул, снял засаленную кепку и пригладил взъерошенные волосы.

— Местный, говоришь? Погодь, погодь,— прищурившись, старуха начала всматриваться.— Да ну... Неужто Федька? Не может быть! Ты же...— не поверив, она перекрестилась и отмахнулась: — Сгинь!

— Да, бабка, я вернулся,— перебил ее Федор, смял в руках кепку и повторил: — Домой вернулся... А тебя, старая, что-то не припомню.

— Дык у нас болтали, будто тебя уже давным-давно схоронили, а ты живехонек стоишь передо мной,— продолжая всматриваться, бабка опять быстро перекрести-

лась.— Даже заупокойную заказывали батюшке. Твои, пока живы были, каждый год, на родителей, тебя поминали. Говоришь, не помнишь, да? — и, прикрыв ладошкой беззубый рот, дробно засмеялась: — Я же бабка Ляпуниха, баб Катя... Ну та, которая тебя, когда начал женихаться, отстегала крапивой, а потом засунула ее тебе в штаны, чтобы за девками в бане не подглядывал. Опозорила на всю деревню. Хе-х!

Федор исподлобья посмотрел на нее. Да уж, он помнил этот случай, а потом еще и батя несколько раз ремнем отстегал, когда соседи проходу не стали давать.

— Не забыл,— насупившись, буркнул Федор.— И тебя, баб Катя, частенько вспоминал. До сих пор небо коптишь, старая? Ну живи, живи, сколько наверху отпущено...

— А я и взаправду думала, что тебя уж давно на свете нету,— покачав головой, сказала бабка Ляпуниха.— Сколько лет ни слуху, ни духу, а сейчас заявился. Ох, шустер был, однако...

— Да жив я, жив,— поморщившись, пробормотал Федор.— Вот вернулся... Домой не заходил, сразу сюда подался.

— Господи, а что стоим-то? — перекрестившись, прошамкала баба Катя.— Ты же с дороги, чать, голодный. Пошли ко мне, покормлю, а там и погуторим,— и, не оглядываясь, она засемила по узенькой заросшей тропке.

Подняв сумку из холстины, где лежали смена белья, пара книжек, кусок дешевой вареной колбасы и четвертинка хлеба, Федор взглянул на отцовский крест, окинул взглядом заросшее сиренью да черемухой неухоженное кладбище и, неторопливо шагая, стал нагонять старуху.

Приноравливаясь к мелким шагам бабы Кати, он спотыкался на разбитой дороге. Обходил глубокие рытвины. Цеплял на мятые штаны колючий репейник, растущий по обочинам. Крутил башкой, с любопытством оглядывая деревню, когда-то большую и зажиточную, а сейчас почти безлюдную — избы вросли в землю, в некоторых мерцали огоньки лампадок, а другие смотрели в небо пустыми глазницами окон.

— Танюха,— Федор вздрогнул, услышав резковатый шамкающий голос бабки и увидел, что она приостановилась возле высокого глухого забора, где тявкнула собачонка и, заскулив, умолкла.— Заходи ко мне! Твой хахаль бывший возвратился, Федька, которого я крапивой отстегала. Не забыла? Хе-х! Отметим приезд-то... — и, постучав клюкой по забору, засемила к приземистому дому с покосившейся трубой, с крышей, где местами чернели дырья, и скамейкой возле палисадника.

— Ага, разбежалась,— донесся женский голос.— Тоже мне — хахаль. Кобелина! Нагулялся, нашлялся и вернулся. Отмечу... Кочергой да по хребтине! Ишь, женишок выискался...

— Ох, строга наша Танька, строга! — приостановившись, зашамкала баба Катя.— Вдовая... А хозяйственная — страсть! Сынки в город подались, а она не пожалела. Так и живет одна-одинешенька...

Распахнув калитку, она прикрикнула на козу, привязанную к столбику в глубине двора, поднялась, держась за поясницу, по просевшим ступенькам, толкнула скрипучую дверь и скрылась в избе, которая чуть ли не по оконца вросла в землю.

— Проходи в избу, Федька,— донесся шамкающий голос бабы Кати.— Сейчас на стол соберу, самовар вздую и покормлю тебя, горемыку.

Заметив рукомоийник, Федор умылся, оставив на лице грязные потеки, вытерся носовым платком, присел на ступеньку, невесело посмотрел по сторонам и прислушался. Вдалеке одиноко пропел петух и умолк — отозваться-то некому. Сидел, глядел на соседние избы, на просевшие крыши, на буйно разросшиеся кусты, на крапиву да репейник, что заполонил все места, откуда ушли жители,— это первый признак необходимости. Там, через два двора, находилась родная изба, где он играл с друзьями...

ми. Где помогал бате и мамке. Где вечерами сидел на скамейке и дожидался, когда подаст знак Танька — его первая любовь, чтобы с ней ушмыгнуть к речке, целоваться до первых петухов, а потом крадучись прошмыгнуть в избу и завалиться на печку, пока не поднялась мать, чтобы подоить корову. Да, все было... Было, пока не уехал из родного дома. И понесло, закружило по жизни: каждодневные шашки, деньги дурные, пьянки, бабы, драки; а потом, когда из бригады выгнали, начал воровать, и как итог — тюрьма. Там-то он и понял, что жизнь зря прожита. Ни дома, ни семьи, ни детей — один как перст остался на этом свете. Более двадцати лет вычеркнуто, с корнем вырвано из жизни, пока шлялся по стране, потому что не заметил ее, жизни-то, не почувствовал ни вкуса, ни радости. Так, перекати-поле, по-другому он не мог себя назвать. Эх, жизнь...

Не выдержав, Федор поднялся, спотыкаясь, добрался до родной избы. Рванул, вырвал щеколду, распахнул скрипучую дверь и остановился на пороге, прислонившись к косяку. Затхлый воздух, запах мышей — что они грызут в пустом доме, бедолаги? Кругом свисает ключьями старая паутина. И пыль... Повсюду толстым слоем лежит пыль. Напротив, в простенке между окнами, висят в простенных рамочках поблекшие от времени фотографии деда с бабакой и большой снимок отца с матерью, подретушированный заезжим фотографом. Под ними, на самом виду, — комод, как богатство и украшение дома. Федор помнил, что его смастерил их сосед, мастер на все руки, и даже вырезал на ящиках по паре цветков да целующихся голубей. Сверху стоят запыленные флаконы, наверное, какие-нибудь лекарства. Стопочкой лежат бумажки, а может, фотографии, да в середине возвышается пузатый графин, в который наливали самогонку, когда наступал праздник, приходили гости и его торжественно ставили возле горки нарезанного хлеба, чашек с винегретом, щербатых тарелок с помидорами и огурцами, с картошкой и прочей незамысловатой деревенской едой. В углу — божница с иконами, с лампадкой и парой свечных огарышей. Под ней притулился стол с одиноко стоящей на нем граненой рюмкой. Возле него — две разошедшиеся табуретки. Тускло сверкнула дугами старая никелированная кровать; в детстве он откручивал с нее блестящие шарики и играл с ними, пока не терял, а потом от отца получал ремнем; в изголовье чудом сохранились две большие подушки — удивительно, как не своровали, а по полу простерлись самотканые дорожки, старые и запыленные. В задней избе — лоскутное одеяло на обшарпанной печи, невеста откуда взявшийся цветочный горшок с засохшей геранью, ухваты и рядом, на полу, два-три разнокалиберных чугунка. А в шкапчике, что висел над столом, если открыть, Федор помнил, были кружки и чашки, несколько щербатых тарелок и горка ложек с вилками да пара стертых ножей...

— Федька, Федька, — донесся с улицы голос бабы Кати. — Куда умызнул? Эть неугомонный! Я на стол собрала, вышла, а его ужо и след простыл. Подь сюда, пора вечерять!

Вздохнув, Федор еще раз осмотрел внутреннее убранство дома, медленно вышел, прикрыл дверь и направился к дому старухи.

В сенях, где пахло разнотравьем, чесноком и луком, он скинул стоптанные туфли, поставил рядышком с галошами бабы Кати. Куртчонку повесил на гвоздь. Поправил смятый ворот рубашки. Пригладил давно не мытые волосы. На ощупь нашел дверь и, стукнувшись лбом о низкий косяк, прошел в избу, потирая ушибленное место и продолжая держать смятую кепку. Обшарпанная печь, щелястый пол и потолок, напротив двери раскорячился допотопный стол, тронь — и развалится, а за ним засиженное мухами оконце с застиранным сероватым куском тюля. Все, как в их доме...

— Проходи, сидай, — смахнув застиранным полотенчиком невидимую пыль, баб-

ка Ляпуниха придвинула к столу табуретку.— Гостей не ждала, угощайся чем Бог послал.— Присела на краешек табуретки, наклонилась и чем-то звязкала.

На середине стола — початый каравай, горкой высятся отхваченные крупные ломти хлеба. Из чугунок вкусно пахнет вареной картошкой в мундире. На тарелке лежат с пяток яиц вкрутую. Рядом — солонка с крупной сероватой солью. В чашке желтеет горка квашеной капусты, из которой виднеются небольшие огурчики, а поверх разлеглись мятые красновато-бурые помидоры. Отдельно на щербатом блюде — нарезанное сало, пожелтевшее, с темной прослойкой и с высохшей твердой шкуркой. Видно, что сало берегут и достают в редких случаях, когда гости приходят или наступает какой-нибудь праздник...

— Ну, Федька, с возвращеньцем,— прошамкала баба Катя и придвинула граненый стаканчик с мутной белесой жидкостью.— Выкушай стопочку с устатку, с дороги, а потом повечерем.

Опрокинув стаканчик, Федор передернул плечами, отломил кусочек хлеба и шумно выдохнул.

— Ух, сильна! — поперхнувшись, пробормотал он, ухватил пальцами капусту и громко захрустел.— Не, баб Кать, мне хватит. Я на могилке выпил, да у тебя — этого достаточно, а вот повечерю с удовольствием.— Он достал картошку, обжигаясь, очистил, ткнул в солонку, откусил и зажмурился от удовольствия: — Ох, соскучился по родимой!

И быстро начал есть, хватая помидоры, огурцы, высохшее прогорклое сало, лук, картошку и — жевал, жевал, жевал, причмокивая. Подавившись, исходил натужным кашлем. Смахивал крошки в ладонь и кидал их в рот, что-то бормотал, отвечая на вопросы старухи, вытирал вспотевший лоб и снова тянулся к тарелкам.

Сдвинув шерстяной платок, баба Катя поправила выбившиеся прядки седых волос, опять надвинула платок, закрывая лоб, вытерла сухонькой ладошкой морщинистый рот и, сложив руки на столе, наблюдала, как Федор торопливо ест, изредка сокрушенно качала головой.

— Да, Федька, потрепала тебя жизнь, потрепала,— сказала она, когда Федор наконец-то откинулся к стене, расстегнул ворот рубашки, утерся грязным носовым платком и осоловело взглянул на старуху.— Где же тебя носило, горемычный?

Федор достал из кармана помятую пачку дешевых сигарет, посмотрел на бабу Катю.

— Чего уж там, смоли,— она придвинула грязную банку.— Хоть в избе мужиком запахнет.

— Везде побывал,— Федор прикурил, выпустил густое облако дыма и с неохотой сказал: — Много повидал, более двадцати лет промотался на чужой стороне, оглянулся назад, а там пшик — пустота, ничего в жизни не оставил. Так, ветер в поле... И такая тоска взяла, хоть волком вой, хоть башкой об стену — все едино. Собрал вещички и подался сюда. Сидел на могилке, с батеи разговаривал, и на душе полегчало, словно он рядышком примостился, как в детстве. Я же в молодости, как сбежал из дома, так ни разу в гости не приезжал. Некогда было! Эх, жизня...— и, выбросив окурок, снова достал сигарету, прикурил дрогнувшей рукой и опять скрылся в густом облаке едучего дыма.

— И чего же ты, милоч, собираешься делать? — поджав губы, прошамкала бабка Ляпуниха.— Проведал батьку и вновь в бега подашься? Опять начнешь щастье в жизни искать?

— Нет, баб, никуда не поеду,— натужно кашляя, прохрипел Федор.— Сызнова надо жизнь начинать. Сызнова, но по другой дорожке, по настоящей, а не по той, что опять в болото заведет, где сгнуть проще простого, да и...

— Вот и правильно говоришь, правильно,— перебила, махнув рукой, бабка Ляпуниха.— Оставайся и налаживай свою жизнь. Впереди еще много годочков, а назад не оглядывайся, не тревожь душу, но и не забывай. Соседи, кто в деревне остался, тебе подмогнут, а остальное сам сообразишь-сделаешь. Так и поднимешься на ноги, так и станешь жить, как твои папка с мамакой. Правильно, Федька, правильно! — повторила она и хлопнула по столу ладошкой.

— Ну, а как в деревне жилось, пока меня не было? — попыхивая сигареткой, спросил Федор.— Я же почти ничего не знаю. Первые годы получал письма, а потом, когда стал ездить из города в город, почта запаздывала. Последнюю весточку с год назад от тетки передали. Сообщила, что мамака давным-давно померла, а батю недавно схоронили, и все на этом. Как здесь жилось-то?

— Нормально жили, нормально,— поджав губы, прошамкала баба Катя.— Работали, куда колхоз был. А когда развалился, многие в город подались, другие устроились к этим... Как их... Ну, к хапугам, кто землю выкупил за копейки... А-а-а, фермеры! Что в колхозе от зари до зари работали за трудодни, что у хапуг за зерно да мелочишку — копейки. Ничего жилось, нормально,— повторила бабка Ляпуниха.

— А сейчас работа есть? — затушив окурочек, спросил Федор.— Посмотрел — только ржавые косилки да комбайны возле деревни стоят.

— Кто хочет работать, тот всегда найдет,— махнув рукой, сказала баба Катя.— Вон Танюха каждый день в соседнее село мотается. Пристроилась дояркой. Дождь ли, снег ли, а она тащится. Потеплее укутается и бредет по дороге. Привыкла! То молочка, то с пяток-десяток яичек занесет, а хлеб поставит, так каравай-другой обязательно притащит. Остальные, кто здесь живет, тоже пристроились. В соседнем колхозе, как говорили, фермер всех мужиков излечил от пьянки. Надоело ему смотреть, как через пень-колоду работают, подогнал автобус, загрузил мужиков, кто самогонку хлестал, и отвез в город. Сейчас фермер не на радуется, глядя на работников, да и бабы расцвели, похорошели: ни пьянок, ни ругани, ни драчек, благоверные деньги в дом несут, а не за бутылкой в магазин бегут. Где это видано, чтобы деревенские мужики не хлобыстали самогонку? А ему удалось всех приструнить. Благодать, да и только! А давеча, по весне, Петруха с жинкой из города вернулись. Говорят, в деревне легче прожить. Хе-х! А может, и правда, не знаю... Домишко новый хотят себе ставить. Лесу понавезли — страсть! Уже свинок держат, гусятки-курятки бегают. Надо жить, Федька, жить...

Федор сдвинул тюль, посмотрел в мутное оконце, за которым сгушались вечерние сумерки. Вздохнул, помял кепку в руках, поднялся и сказал:

— Засиделись, баб Катя, заговорились. Пора и честь знать. Благодарствую за хлеб да соль! Пойду домой. Поздно уже...

— Куда тебя понесло? — посмотрев, как под осенним промозглым ветром гнутся кусты, она всплеснула руками.— Холодно, Федька! Здесь оставайся, переночуешь. Вон, на печке проспишь...

— Нет, баба Катя, пойду домой,— направляясь к двери, повторил Федор.— Слишком долгим был мой путь, слишком... Ночку перекантуюсь, а завтра надо крышу подлатать, печку подправить да в доме убраться. Много дел скопилось, пока шлялся. Думаю, справлюсь. А потом, как наведу порядок, куда-нибудь устроюсь на работу. Ничего, проживу,— и, подхватив сумку, он шагнул за порог.

— С возвращением, Федька,— прошамкала бабка Ляпуниха и перекрестила след.— Утречком заверну к Танюхе. Уговорю, чтобы по хозяйству помогла. Глядишь, жизнь-то и наладится...

